Автор: Лелик А. (Украина)

Кьеркегора я читала, так как этого «требовала программа МИЭК», читала и, очевидно, «глядела в книгу и видела ... (известно что)», т.е. совсем не то, что пытался донести философ.

Серен Кьеркегор, датский философ XIX века, был первым, с кем я столкнулась (выражение не фигуральное, учитывая мою твердолобость) на своей первой сессии в Международном институте экзистенциального консультирования. Он казался мне нудным, непонятным и бессмысленным — тогда я была заражена вирусом популярной психологии и философии с «простыми», обывательскими рецептами счастья. А тут Кьеркегор — сомневающийся, терзающийся, непростой и замысловатый, и самое (!) характерное — вряд ли счаст-ливый по меркам и нормам «героя нашего времени». Был долгий путь к тому, чтобы он стал мне не просто понятнее, но стал своим, личным, значимым.

Узнавая его, хотелось ближе с ним познакомиться. Где и как жил, чем занимался, как умер... Уже позже, вникая в его философию, я понимала, насколько неразрывно она связана с его жизнью. Он не строил сложных конструкций о метафизике, идее и материи. Он жил как «простой смертный», и его волновали вопросы бытия, те, что волнуют каждого: предательство, измены, невыполненные обещания, пустота, чувства, долг, обязательства...

Жизнь его была бедна теми событиями, которыми взвешивается ценность современной жизни: путешествиями, достижениями, связями, наградами, влюбленностями и головокружительными победами над женщинами... Чем-то другим, неизмеримо важным он жил и наполнял свою жизнь.

На страницах журнала хотелось бы поделиться своим знакомством, Встречей — и немного своей жизнью с тех самых пор, как в ней появился он — мой Кьеркегор.

«День выбора»

Первое, что стало «моим» из философии Кьеркегора — это тема выбора.

Ко мне были обращены его слова: «Выбор сам по себе имеет решающее значение для внутреннего содержания личности: делая выбор, она вся наполняется выбранным, если же она не выбирает, то чахнет и гибнет».

Словно буриданов осел, не в силах выбрать между двумя одинаково лакомыми кормушками сена, я умирала «от голода», растворяясь в пустоте. Временами мне совершенно реально казалось, что меня нет, я — ноль, пустое место. «Умирание» — здесь не просто красивая метафора, это реальное ощущение поглощающей пустоты (где-то между сердцем и легкими — напоминающее, что я еще жива вопреки всему).

Опустошенность, вакуум, бессмыслица, ропот и желание только одного — «пусть

решится все как-нибудь само собой». В этом Кьеркегор — пророк: так все и случалось не раз. Увы!

«Выбираемое находится в самой тесной связи с выбирающим, и в то время, когда перед человеком стоит жизненная дилемма: или — или, самая жизнь продолжает ведь увлекать его по своему течению, так что, чем более он будет медлить с решением вопроса о выборе, тем труднее и сложнее становится этот последний... Если он забудет принять в расчет обычный ход жизни, то наступит, наконец, минута, когда более и речи быть не может о выборе, не потому, что последний сделан, а потому, что пропущен момент для него, иначе говоря — за человека выбрала сама жизнь, и он потерял себя самого, свое “я”».

Положиться на волю Всевышнего — это значит принять все без ропота, как единственно верное. И отказываясь от выбора в таком случае, стоит принять на себя все последствия. Я же, прячась за красивыми словами «да будет воля Твоя», убегала от ответственности, естественно ропща и жалуясь после, отчего все так «не так». Не было в этом Высшей воли, а было сплошное своеволие и неоправданное бездействие.

В Евангелии есть много «спорных» мест. Например, блуд строго осуждается и в Ветхом, и в Новом Завете, но в Новом ужесточаются «критерии» блуда (грех желать и просто смотреть с вожделением) и в то же время — Господь милует в первую очередь блудниц и блудников. Фарисеи «преткнулись» на этом. Или другой пример: осуждая фарисеев, Христос не отменяет Закона и Сам его исполняет, говоря людям, чтобы делали так, как они (фарисеи) учат, но не поступали так как они поступают.

Одно лишь в Евангелии не оправдывается ни при каких обстоятельствах — теплохладность человека. Другими словами — равнодушие. Для меня лично это стало приговором, точкой отсчета и пульсации в сочетании с кьеркегоровским «невыбором», «когда жизнь выбирает за нас». Позволяющие «жизни делать за нас выбор» — мы, что называется, ни то ни се, ни рыба ни мясо, ни вашим ни нашим. Страшно. Наверное, об этом и В. Высоцкий пел, что страшно «в жизни быть не при чем».

Об этом же говорил классик: «Не бойтесь друзей — они могут только предать, не бойтесь врагов — они могут только убить, а бойтесь равнодушных, ибо с их молчаливого согласия происходят в мире все предательства и убийства».

«Устами младенца»

Как всегда, лучше всего учат дети. В детских сказках и творчестве самих детей всегда все предельно ясно: добро и зло, правда и кривда, красота и уродство. Очень редко в сказках (равно как и в жизни) злые становятся добрыми, а чудища красивыми — и уж тогда это будет такая доброта, такая красота, вокруг которой всем будет светло. У детей не ищите спокойствия, ровной души и толерантности. Здесь — определенно «или-или». Герой сказки может долго терпеть злодейские проделки, но он никогда не станет их оправдывать. Кроме того, герой нашей сказки никогда не борется ради спасения человечества, но ради любимой, брата, сестры, отца — или СВОЕГО народа.

Возвращаясь к программе института: помнится, когда я читала «Даниэль Штайн, переводчик» Людмилы Улицкой, мне не давала покоя линия жизни Эвы. Она стала жертвой собственной толерантности и гуманизма, которые, прикрываясь безликой любовью и принятием, уничтожают человека, разрушают его жизнь, стирая грань между грехом и святостью. Улицкая сумела показать эту жизнь, когда, оставаясь толерантной и гуманной, Эва позволяет сыну жить в ее доме с любовником, а мужу иметь на работе молодую любовницу. Желая обрести терпение, но не имея для этого ориентиров, Эва подкупается толерантностью — терпимостью не к человеку, а к греху. Вопрос по Достоевскому: любить весь мир и не замечать ближнего, или все же любить ближнего, но тогда плевать на весь мир? Увы, сейчас делается в пользу первого. Прикрываясь гуманизмом, только и остается, что жить одиноко «в толпе».

«Э» в квадрате, или Этика и эстетика

«Что же, однако, значит: жить эстетической жизнью и жить этической жизнью? Что может назваться в человеке эстетическим и что этическим началом? Отвечу: эстетическим началом может назваться то, благодаря чему человек является непосредственно тем, что он есть, этическим же — то, благодаря чему он становится тем, чем становится».

Кьеркегор С. «Наслаждение и долг»

Снова вспоминается первое свидание с Кьеркегором — ксерокопия книги «Дневник обольстителя» — несколько раз пытаюсь начать — не выходит. Не нравится, скучно, нудно... (К слову сказать, «Дневник» так и не нравится до сих пор.) А потом попадает в руки «Гармоничное развитие в человеческой личности эстетических и этических начал» — от названия сразу стало не по себе... «Неужели этот философ не мог написать ничего стоqящего?» — крутилась мысль. Название не вдохновляло и не вселяло оптимизма.

Но начала читать, и картина изменилась — этика и эстетика вскоре стали не философскими понятиями, а живыми образами, наполненными личным смыслом. А затем что-то в жизни стало меняться.

Было это так.

На меня смотрели две сотни глаз... — ой, нет, не так было. Все наоборот. Это я смотрела в эти глаза, которые в это самое время смотрели в ту точку, которую обычно называют «никуда». Периодически все же я встречалась с кем-то взглядом, и по коже пробегал мороз: это был взгляд без чего-то самого важного, главного. Красивые, разных форм, размеров, цветов, но все без огня надежды и устремления, долга, которым всегда отличаются горящие глаза юности.

Со временем я уже привыкла к этой типичной картине — взгляду наркомана. Дело было в одном из реабилитационных центров. Ребята, по большей части, совсем юные, не

достигшие еще зрелости, пребывали здесь уже какое-то время и были в относительной «трезвости». Но в глазах по-прежнему не было огня, не было высокой цели, ради которой стоит жить, не было внутреннего долга, который стал бы путеводной звездой (уже позже я определила этом словом «совесть», которая тем больше видна во взгляде, чем больше человек живет по ней). Выражаясь метафорически, это были сотни безводных, безжизненных пустынь, и это было жутко.

Я не понимала, как так вышло, что я здесь и меня просят помочь «провести семинар, консультацию, что угодно психологиче-ское». Позже, знакомясь с каждым из них, я узнавала что-то до боли- знакомое. И потом словно вспышка: «наркоман — это же эстетик, доведенный до предела». Тяга к удовольствиям, к кайфу, к тому, чтобы ничего не делать и не напрягаться (эдакое счастье американских Симпсонов — чтобы все было и на работу не надо было ходить) — именно это стало «сладкой» ловушкой, заманивающей в рабство наркомании. А прибавить к этому отсутствие жизненных ориентиров и опор — как не стать наркоманом, меняющим реальную жизнь на иллюзорный кайф?

В работе, общении с наркоманами, Кьеркегор мне очень помогает. Он писал о Нероне — таком же непосредственном («как дитя») эстетике. В этом отрывке я узнаю наркоманов, узнаю себя, узнаю людей — знакомых и нет, тех, которые с экрана телевизора и с глянцевых обложек навязывают нам пароли и ориентиры, по которым нам жить (только жить ли?).

«Я возьму крупную историческую фигуру Нерона, могущественного повелителя Рима, перед которым падал ниц, ожидая его повелений, весь мир… Знаю я и то, что ты, как и я, как и сам Нерон даже, ужасаешься его чудовищности, и тем не менее я не посоветовал бы никому полагаться на свои силы настолько, чтобы не страшиться одной мысли сделаться Нероном самому… Вернемся же теперь к цезарю-сластолюбцу. Ликторы предшествуют ему не только тогда, когда он поднимается по ступеням трона или направляется в сенат, но даже тогда, когда он идет удовлетворять свои страсти, — они идут вперед и прокладывают дорогу его преступлениям. Но вот он становится старше; беспечность юности отлетела от него, душа изведала все наслаждения и пресытилась ими. Прожитая жизнь, как бы порочна она ни была, умудрила его известным опытом и знаниями, и тем не менее в душе он остался ребенком, или, вернее, юношей, благодаря непосредственности своей натуры. Сознание его не может пробиться сквозь броню непосредственности, и он тщетно старается уяснить себе иную высшую форму земного бытия. Уясни себе это Нерон, и блеск трона, власти, могущества — все померкло бы в его глазах. Для этого, однако, у него недостает нравственных сил, и он в отчаянии хватается за наслаждение. Весь мир должен изощрять свою изобретательность, чтобы постоянно предлагать ему новые и новые наслаждения: он отдыхает душой лишь в минуту наслаждения; стоит наслаждению прекратиться, и он опять задыхается от истомы. Сознание между тем по-прежнему стремится освободиться от лежащего на нем гнета, но без успеха, — его постоянно обманывают наслаждениями. Тогда сознание омрачается, гнев переполняет душу и переходит в трепет, не стихающий даже в минуты наслаждения… Сознание рвется на свободу, требует от Нерона работы мысли и душевного просветления, но душа цезаря уже бессильна, и новый приступ гнева

овладевает ею… Одни лишь наслаждения доставляют ему минутный отдых и забвение. В погоне за ними он сжигает пол-Рима, но душа его по-прежнему терзается муками страха… Он выглядит умирающим, еле дышит, и все же он — повелитель Рима, властелин жизни и смерти своих подданных! Его душа расслаблена, только соль остроумия и игра слов могут еще на минуту оживить его. Но вот все, что в состоянии дать ему мир, исчерпано; чем же ему жить теперь? Он способен заставить убить ребенка на глазах матери, если бы надеялся, что зрелище ее отчаяния будет для него невиданной новинкой. Не будь он повелителем Рима, он бы, пожалуй, давно готов был сам покончить с собой; самоубийство есть, в сущности, воплощение — в иной только форме — желания Калигулы отрубить голову всему человечеству…».

Наверняка перед каждым встанут живые судьбы реальных людей, остервенело падающих в пропасть своих «хочу». А может быть, кто-то в этом узрит себя...

Внутренний долг, совесть, стыд, жить «ради кого-то» — все это вырвалось из под толстого слоя «любимого, желанного «ради себя». Но борьба между «хочу» и совестью — бесконечна. Дорогу одолеет лишь идущий. В путь, с Богом!

Раскаяние

«Сказали Ему: Учитель! Эта женщина взята в прелюбодеянии;

А Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями; Ты что скажешь?

Говорили же это, искушая Его, чтобы найти что-нибудь к обвинению Его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания.

Когда же продолжали спрашивать Его, Он, восклонившись, сказал им: кто из вас без греха, первый брось в нее камень.

И опять, наклонившись низко, писал на земле.

Они же, услышав то и будучи обличаемы сове-стью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних, и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди».

(от Иоанна 8:4-9)

«Стыд — вот то чувство, которое спасет человечество». (из фильма «Солярис»)

Часто приходится слышать, что раскаяние — это удел верующих и религиозных людей. Кьеркегор был протестантским священником и человеком, безусловно, верующим. Но писал он не религиозный трактат, он писал книгу, в которой мог бы

достучаться до сознания каждого. В его книге «Наслаждение и долг» раскаяние, на мой взгляд, занимает одно из ведущих мест. Раскаяние по Кьеркегору очень похоже на раскаяние, о котором писал Достоевский, когда «все за всех виноваты».

Но это будет дальше...

А пока хотя бы вот это.

Фильм «Солярис» был выбран не мною. И первые несколько просмотров фильма приводили в недоумение. Как можно проводить фильмотерапию по фильму, который не нравится и над которым нужно голову сломать, чтоб что-то понять, а не просто эстетически оценить работу Тарковского?

Красной нитью в фильме проходит тема стыда. Говорится о нем лишь в конце, но фильм живет этим чувством. Это увидела не я. Я бы увидела там любовь, равнодушие, дружбу, отца-мать, долг, работу, но вряд ли — стыд. Это увидел мой институтский преподаватель, и это было как рентген — мне стало стыдно, хотя чувство это было под семью замками, под запретами... Горели щеки. В такие минуты кажется, что человек, с которым говоришь, видит тебя насквозь и при этом не осуждает. Так бывает стыдно, когда жалуешься на жизнь перед ветераном войны или когда выбрасываешь кусок сухого хлеба при старике, пережившем блокаду Ленинграда.

Потом было целое лето противоречий и бунта.

Стыд. Что для меня это такое? Череда картинок. Детский сад, воспитатель, няня, просто какие-то тетя или дядя, эдак сквозь зубы говорящие «как тебе не ссстыдно?» (при этом какой-то присвист на букве «с»), и я — которой мало того что не стыдно, еще отчего-то обидно и хочется плакать. После этого взрослые, очевидно, не видя во мне ни капли раскаяния, называли «бессовестной», и я понимала — это приговор: никого хуже меня нет. Возможно, я и в самом деле была бессовестной, но я искренне и по-детски не понимала, за что должно быть стыдно.

Следующий слайд со словом стыд — не более оптимистичный. Те же воспитатели, поймавшие нас, сопливых еще, за «стыдным и грязным» делом — изучением половых отличий на теле у товарища. Помню до сих пор, что «ничего такого» на уме реально не было — было интересно, а о размножении и бесстыдстве никто не думал, даю слово. Подсматривая за отоварищами, справляющими малую нужду, мы не думали еще о том, что это «стыдно». Но звучало это свистящее «ссстыдно», и указательный палец грозил зловеще.

Вот так с детства я крепко запомнила, что «стыдно» — это очень плохо. Это так плохо, что нужно делать все, чтобы только не было стыдно. Но поскольку интерес к противоположному полу с возрастом лишь усиливался, то пришлось выбирать между стыдом и интересом. Было логично запретить себе стыдиться, обозначив это «пережитком -прошлого».

И тут внезапно, словно гром среди ясного неба: «Стыд — вот то чувство, что спасет человечество».

Стыд — первая ступень к раскаянию. А покаяние, в свою очередь, — та ступень, которая выводит человека из замкнутого круга самолюбия, т.е. избавляет от участи Нерона. Покаянием начинается проповедь Иоанна Крестителя — и с греческого языка слово «каяться» переводится как «меняться».

Поэтому можно, конечно, прятаться от слов, несущих религиозную окраску, и говорить, что это удел набожных старушек, а можно творить собственную жизнь, меняясь и преображаясь.

«Порожденный совестью стыд обладает удивительным свойством: как горькое лекарство он исцеляет даже застарелые греховные язвы в душе человека, не позволяя проявляться им вновь и вновь, и если бы мы не заглушали, не подавляли эти уколы стыда привычным самооправданием, дескать все так делают... и если бы не обезболивали день ото дня свою больную совесть — глядишь, и жизнь прошла бы не напрасно», — пишет священник С. Ганьковский.

«Оттолкнуться от самого дна»

Кьеркегор логичен: для того чтобы прийти к раскаянию, необходимо дойти до отчаяния. А путь к отчаянию лежит через ощущение тупика (прямо как в сказке: игла в яйце, яйцо в ларце...). Тупик — это не просто кризис или черная полоса. Тупик — это когда в жизни больше нечем дышать, когда вокруг глухие стены, и жить так дальше нереально — будто твои легкие не могут больше дышать этим воздухом. Тупик — это решающее место, из которого ясно видно это самое «или-или». Чтобы выйти из тупика, нужно отчаяться, упав на самое дно.

Здесь многие верующие люди претыкаются: известно давно — отчаяние — смертный грех. Поэтому напрашивается вывод: это трудности перевода; то отчаяние, которое описывает Кьеркегор, нисколько не противоречит христианской догматике. Отчаянию он противопоставляет меланхолию, которая и есть уныние — смертный грех.

«Меланхолия — грех, именно грех, отсутствия сознательной воли, т.е. такое душевное состояние, при котором человек и сам не знает, чего он хочет или не хочет; грех, мало того — из грехов грех».

И дальше:

«Я часто замечал, что чем дороже напиток, которым опьяняет себя человек, тем легче последний втягивается в его употребление, тем прекраснее само опьянение и тем, по-видимому, менее пагубны его последствия. Чрезмерное употребление водки скоро дает себя знать такими ужасными последствиями, что на исправление пьяницы можно еще надеяться. Отказаться от опьянения шампанским уже неизмеримо труднее».

Отчаяние — это взгляд на самого себя, без прикрас и бантиков — когда остается лишь одно: «прийти в ужас от самого себя» (думаю, у каждого найдется — за что). А что потом? Логичный вопрос. Потом — либо принять этот ужас, наполнившись желанием менять свою жизнь, либо, повторив участь Иуды, не выдержав того, что такой прекрасный человек оказался полным ничтожеством, пойти и удавиться (и снова «или-или»). Отчаяние — первый опыт реальной Встречи с собой.

Придя в ужас от самого себя, человек достигает дна, о которое можно оттолкнуться и всплыть на поверхность.

«Раскаиваясь, человек мысленно перебирает все свое прошлое, затем прошлое своей семьи, рода, человечества и наконец доходит до первоисточника, до самого Бога, и тут-то обретает самого себя. Только под этим условием может человек выбрать себя самого, и это единственное условие, на которое согласен он сам, так как лишь оно ведет к абсолютному выбору. Что такое человек без любви?»

Ответить на этот вопрос значит получить возможность, читая Кьеркегора, живя свою жизнь, делая свое дело, слушая свою совесть. Вряд ли я могу сказать что-то больше, ведь сама я только учусь — слушать, делать, жить...